



ФИЛОСОФИЯ ТВОРЧЕСТВА И ТВОРЧЕСТВО В ФИЛОСОФИИ (интервью Ю.М. Резника с профессором К.С. Пигровым; июль 2010 г.)

Мое второе интервью с профессором К.С. Пигровым проходило в несколько необычной обстановке. Мы встретились с ним в одном из пансионатов Плеса, расположенном на самом берегу Волги. Поэтому разговор сразу же пошел о вечном и нетленном.

От философии к творчеству

Ю.М. Резник: *Давайте, Константин Семенович, затронем с Вами вечную тему жизни и смерти. Что продолжает удивлять Вас в жизни, несмотря на жизненный опыт как позитивный, так и негативный?*

К.С. Пигров: Хотя слово «удивление» освящено Аристотелем, но мне оно кажется довольно плоским. Что может удивить? Как говорил Марк Аврелий: «Кто дожил до сорока, тот не увидит ничего нового». Другое дело — проникновение в смыслы бытия. Это даже не удивление, а радость. Что же касается удивления, то помню, на занятии немецким языком в Гёте-институте преподавательница, очень душевная, решила просветить нас в отношении немецкого пива. Она принесла огромную авоську разных сортов пенного напитка, купленного ею, кстати говоря, на свои деньги. Мы всё выпили и, наверное, что-то поняли о сути немецкого бытия. (Но, сознаюсь, что чтение «Фауста» было для меня важнее). Вот этому педагогическому приему я удивился. Все это я рассказываю к тому, что удивление — не то слово, которое может быть в центре.

Ю.М.: *А какое же слово для Вас главное?*

К.С.: Последнее время я стал думать, что главное слово — это высокое спокойствие, его еще нужно достичь, что в наших силах. Это не исключает способности к духовному и интеллектуальному удивлению.

Ю.М.: *Высокое спокойствие одновременно несет в себе оттенок равнодушия, беспристрастного взирания на мир. А что значит высокое?*

К.С.: Оно означает присутствие в универсуме высших предельных смыслов бытия и способность к переживанию этого присутствия.

Ю.М.: *А где же они сосредоточены?*

К.С.: Вне пространства.

Ю.М.: *Каким же образом Вы осознаете их присутствие, если они находятся вне пространства?*

К.С.: Это-то самое удивительное. Вот, к примеру, читаю я диссертацию. Это «диссертательная» вещь, человек читал литературу, все знает, но... души в его работе нет.

Ю.М.: *То есть что-то в нас есть, что нас цепляет за эти смыслы?*

К.С.: Да, мы вступаем с ними, с этими высшими смыслами, в таинственный резонанс. Или — не вступаем. Отношения с духовными смыслами принципиально неформальные. С некоторой грустью я смотрю на людей, которые сегодня активно бросились в религию. Вроде бы и крестик у тебя есть, и ходишь в церковь, но чего-то не хватает. Возможно, самого главного — веры. Дело в том, что и в религию можно «броситься» как в философию или искусство. Но стать религиозным человеком, православным — не то же самое, что стать активным болельщиком футбольной команды «Зенит». Современные профанные формы очарованности, увлеченности превращают религиозность в фарс.

Ю.М.: *Напрашивается парадокс. Религия — это способ приготовления к загробной жизни и одновременно ухода от настоящего. По сути, человек не живет по-настоящему, не отдается жизненной стихии, а все время готовится к другой жизни. А философия, напротив, разговаривая о смерти, остается жизнелюбивой и жизнеутверждающей, апеллирует к вещам, связанным с настоящим, а не прорисовывает Царство Небесное. Согласны Вы с этим?*

К.С.: Нет, я бы не стал противопоставлять религию и философию. Конечно, можно представить религиозную веру в такой структуре: есть Ад под землей, там черти жарят грешников на больших сковородах, а есть Рай, где все хорошо. Это мифологическая вертикаль, но любой культурный религиозный человек понимает, что в религиозности главное — не приготовление к загробной жизни, а чувство, что ты уже сейчас и теперь, общаясь с высшими смыслами бытия, уже в Раю или Аду. Вот я читаю книгу Андрея Буровского «Великая гражданская война 1939-1945 гг.», где он описывает армию украинских националистов, которые предельно жестоко уничтожали поляков на украинской территории. Разве в тот момент и те, и другие были не в Аду?

Ю.М.: *Получается, что в Ад попадают не только преступники, но и жертвы их преступлений.*

К.С.: Религия с этой точки зрения в рамках конфессионального института становится банальной, пошлой. К примеру, есть Институт философии РАН как учреждение, в котором существуют отчеты, планы и т.д. И понятно, что директор этого института вовсе не обязательно должен быть гением. Точно так же и с религией.

Хочу высказать главное для меня: мы присутствуем в мире смыслов, причем оно примерно такое же, как и присутствие в «Зоне». Например, в «Сталкере» — три раза проходили по одному маршруту, все было нормально, а на четвертый — провалились. Эти смыслы капризны, непредсказуемы и рассматриваются нами как Дар.

Ю.М.: *А Вы верите в их объективную данность, в то, что они находятся в каком-то параллельном пространстве, и мы имеем возможность время от времени проникать в него?*

К.С.: То, что они в параллельном пространстве, — это метафора. Они вне пространства и времени. Мы очень слабо управляем этими феноменами, хотя, к примеру, пребыванию в мире смыслов способствуют Институт философии РАН или наш факультет философии СПбГУ.

Ю.М.: *Каким же образом они способствуют? Тем, что там систематически замечаются смыслообразованием и умножением сущностей? Хотя и это является преувеличением. Вы же подчеркивали здесь слово «институт». А институт, как Вы правильно сказали, это, помимо прочего, — бумаги, отчеты, плановая работа, масса всего другого. Как и всякие системы, они налагают определенные ограничения на творческую ак-*

тивность ученых, устанавливая рамки их научной деятельности. Какая уж здесь свобода творчества? Творчество возможно вне этих рамок. И у каждого складывается своя атмосфера для творчества. У одного это происходит в тиши кабинета, у другого – на лоне природы, у третьего – в диалоге. Институты – и это главное в них – могут создавать условия для творчества, а могут сворачивать возможности для него. Слава Богу, наши с Вами институты их создают, а могло быть хуже.

К.С.: Я смотрю на себя. Может повезти, и придет хорошая мысль, а может хорошая мысль и не придет. Но, тем не менее, нужно организовывать свою жизнь. Нужно вести график, отмечая в нем чисто формальные стороны жизни.

Ю.М.: Не много ли у Вас формализма по отношению к собственной жизни? Это относится к Вашим обязательствам перед институтом или к систематическим занятиям в области философии?

К.С.: Я рассматриваю Институт как способ организовать систематически занятия, в т.ч. в философии или науке. Двадцать лет я, присутствуя на деканских совещаниях, слушал Ю.Н. Солонина, который каждый раз говорил, что некоторые преподаватели позволяют себе приходить позже на лекции и раньше заканчивать. Мол, это – безобразие. Он был, разумеется, прав: немецкая тщательность, пунктуальность и аккуратность – необходимое условие успешного творческого философствования. Но мудрый Солонин, разумеется, понимал, что тщательность еще не решает дела, а потому, насколько я помню, никого не наказывал за опоздания.

Нам необходима эта организационная сторона нашей жизни, начало формальной строгости. И главное, что утешает, – это жизнь по стереотипам. Кстати, стереотип – любопытная вещь сама по себе. К старости понимаешь, что организация жизни по стереотипам, когда ты, к примеру, не глядя, протягиваешь руку и наверняка знаешь, что там лежат очки, вещь весьма полезная.

Ю.М.: Но Вы скорее говорите о привычках, доведенных до уровня автоматизма, чем о стереотипах. Стереотипы – это клишированное сознание, в котором нет места проблемной ситуации и свободному выбору. Представьте себе, что в один прекрасный момент Ваши институты исчезнут. Что Вы тогда будете делать? Создавать новые институты, поскольку без них Вы уже не можете вести привычный образ жизни и находить вещи там, где им положено лежать?

К.С.: Ты понимаешь, что это не навсегда.

Ю.М.: А что делать в ситуации, когда рушатся прежние институциональные структуры? К примеру, В.М. Межуев считает, что сейчас философия не нужна нашему обществу – ни как институт, ни как форма самосознания. Хотя в истории и были периоды, когда на философию были гонения, но такого состояния апатии и безразличия не было давно. И философия первой чувствует дефицит духовности. Многих философов охватывает какое-то отчаяние или тоска безысходности.

К.С.: По-моему, это не отчаяние, а некоторый спектакль. В.М. Межуев – это, прежде всего, блестящий актер, что очень существенно для понимания индивидуального профиля его философствования. Он занимался когда-то в актерской студии, да и внешними данными его Бог щедро наделил. Поэтому он разыгрывает, причем даровито, театр философии, в котором есть, в частности, «сцена отчаяния и тоски безысходности». Я не вижу в этом ничего плохого. Возможно, что во мне говорит даже некоторая зависть к Вадиму Михайловичу. В целом, он – зрелый и интересный мыслитель. Будем отличать содержание от своеобразной дидактической фор-

мы, в которую это содержание облечено. Что же касается фундаментального вопроса, поставленного Вадимом Михайловичем, — быть или не быть философии, это не от нас зависит. Взять хотя бы философию науки, которую ввели вместо полноценного курса по философии для аспирантов. Но что бы ни делали чиновники от науки и философии, она ведь все равно остается философией, живущей по своим внутренним законам.

Ю.М.: *Но неужели Вы не замечаете, что идет вытеснение философии из интеллектуального пространства России? Она становится невостребованной. Что это — результат непродуктивности философской мысли и интеллектуального бессилья нынешнего поколения философов или состояние общественного сознания, в котором мода на философствование безвозвратно уходит? А что же тогда придет взамен — интеллектуальные игры и шоу?*

К.С.: Философия — это вечная структура духа. И главное — это то обстоятельство, что все формы абсолютного духа, которые выделил Гегель, едины. К примеру, религия и философия не противоположны, а находятся в единстве. А в искусстве хорошо видно, что смыслы не зависят от намерений режиссера, они обнаруживаются, а не создаются. Мы говорили с Вами раньше о фильмах. Так, Н. Михалков, наверное, намеривался или хотел бы снять «Утомленные солнцем» как высшее проявление своего творчества. Но у него не получилось. А «Жизнь прекрасна» Роберто Бенини была сделана, мне кажется, как некая шутка, без всяких претензий на высокое искусство, но получился гениальный фильм. Творчество — это предельная возможность выстраивать субъективный мир в соответствии с высшими законами бытия. Но не каждому это дано.

Ю.М.: *А Вам не кажется, что в фильме Михалкова наблюдается явное упрощение всей исторической драмы, попытка закрыть пеленой глаза ребенка, чтобы он не видел всей этой трагичности?*

К.С.: Можно и так сказать, но в то же время есть и другая сторона. В конце фильма мальчик выжил, и получил урок приобщения к высшим измерениям бытия. Это не фантазмы.

Ю.М.: *А может, это всего лишь самообман? Попытка увести ребенка от страшного исхода?*

К.С.: Первый слой, конечно. Но если спросить: что важно? Даже жизнь не важна в такой мере, в какой важно приобщение к Абсолюту.

Ю.М.: *Ну это еще и вопрос ценностей. Почему Вы придаете всему этому такой универсализм? Разве жизнь ради смысла — это единственно настоящая и подлинная жизнь? И стоит ли считать жизнь ради предметных, материальных ценностей неполноценной или никчемной?*

К.С.: У каждого свои ценности.

Ю.М.: *За всеми этими фразами я чувствую, с одной стороны, некую ностальгию, обреченность, а, с другой, попытку уйти от главного. От чего Вы уходите? У меня складывается ощущение, что Вы постоянно бежите от себя, уходите от очевидно-неочевидной констатации факта, что в Вашей жизни что-то не получилось. И поэтому Вы каждый раз находите какие-то новые формулы для оправдания прожитого как уже свершившегося и непоправимого. К примеру, формула высокого спокойствия или присутствия служит оправданием Вашей склонности к конформизму. А может, стоит покаяться и начать все снова?*

К.С.: Может, за этим кроется мое неудовлетворенное честолюбие. Я в юности хотел быть великим философом. Но «не получилось». И в конце концов приходит понимание, что не это (то есть «быть великим философом») важно. Не то чтобы я себя уговаривал, что, мол, раз не получилось, то это неважно. Нет, я в зрелости и, тем более в старости, понял, что так называемое «величие» и известность не только суетны, но и тягостны. Как-то по этому поводу пошутил Жванецкий. Его спросили: «Как вы переживаете свою значимость в нашей культуре?» Он ответил: «Теперь просто так в кафе с девушкой не посидишь. Раньше можно было затеряться в большом городе, а Жванецкий не может затеряться». С этой точки зрения знаменитые люди напряжены.

Но это шутка. Если же говорить всерьез, то всякий действительно причастный к философии достигает полноты бытия вне зависимости от того, является ли он открывателем новых смыслов для всего человечества или он делает это только для самого себя. Я отчетливо понял, что чтение «не ниже» письма. Кант в принципе «не выше» читателя его произведений. Мы вместе созерцаем величие духа и вопрос, кто «выше», а кто «ниже», это вопрос о том, кто первый сказал «Э!» — Добчинский или Бобчинский.

Ю.М.: *А Вы не путаете настоящее величие и известность (популярность)? И в чем же тогда проявляется величие в философии, с Вашей точки зрения, как не в автономной жизни идей, некогда принадлежавших их авторам?*

К.С.: Я уговариваю себя не просто утвердиться в этой точке зрения. Присутствовать при великих идеях столь же прекрасно, как и их создавать. Тем более это всегда иллюзия, что ты создаешь. Канту казалось, что он создал трансцендентализм, но он стоял на плечах гигантов. Это просто судьба выбрала его по лотерее, а не потому, что Кант значимее Лейбница.

Ю.М.: *Вот судьба выбрала... Все время попытка оговорить, умалить, придать условность существованию настоящего философа в отличие от философоведев (по выражению В.М. Межуева). Может, в этом и есть драма маленького человека, который не стал философом, не прорвался в мир идей и не сподвигнулся на их созидание, а стал обыкновенным философоведем? А теперь ему кажется, что и великие философы лишь тень гигантов прошлого, на плечах которых они стояли. И в них на самом деле нет ничего великого. Просто случай, удача, везение, не более...*

К.С.: Применительно ко мне — это даже не драма, а скорее трагикомедия, потому что я и философоведем не стал.

Ю.М.: *Ну уж нет, здесь Вы лукавите. Конечно же, Вы стали философоведем. И Ваш учебник, многочисленные брошюры, семинары свидетельствуют о том, что Вы — как достаточно разносторонний человек — сыграли свою роль в развитии философского образования и просвещения в нашей стране. Но вот стали ли Вы философом, я не знаю.*

К.С.: Сыграл не очень успешно. Один мой знакомый как-то позвонил и сказал, что Алексеев выпустил справочник «Философы XXI века» и меня там нет и никого с моей кафедры, и что это неправильно. Ведь в предыдущий его справочник «Философы XX века» я был включен. Вроде немного обидно, но ты понимаешь, насколько это эфемерно. И само по себе пребывание философской идеи в чтении хорошей книги — вот что настоящее, вот что подлинное. Наверное, это Вы имеете в виду, говоря, что бежишь от чего-то. Я «работаю над собой», чтобы преодолеть этот ресентемент человека, который не стал великим.

Ю.М.: *Каждый раз Вы пытаетесь приуменьшить свое значение. Но если следовать принятым канонам, то Вас есть в чем упрекнуть. Дожив до такого почтенного возраста, Вы не написали фундаментальной монографии, которая получила бы общую известность. В отличие, допустим, от Вашего коллеги по факультету профессора Б.В. Маркова, которого мы с Вами уважаем за его профессиональную порядочность.*

К.С.: Но издать монографию еще ничего не значит. Я просто оказался более ленивым, чем мои коллеги. В Маркове я наблюдаю фундаментальную волю к авторству, а во мне она значительно слабее. Поэтому у нас возникают теоретические проблемы с моим коллегой по кафедре А.К. Секацким. Юмор в том, что он позиционирует себя как постмодернист, утверждающий смерть автора, а я, в итоге, оказался значительно большим постмодернистом, чем он, ибо так и не дошел до издания «больших трудов». (Впрочем, еще, как говорится, «не вечер», а если и «вечер», то не такой уж поздний). Для Б.В. Маркова, мной любимого, авторствование есть, как я понимаю, способ жизни. Кстати, эта позиция имеет под собой вполне разумное основание: с помощью своих книжек он прорывается к сути дела. Ведь когда напишешь книгу, с самого начала неясно, удалось или нет прорваться, появилась ли мысль или нет. Эта мысль дается как некая награда сверх того и независимо от воли автора.

Ю.М.: *А в чем заключается Ваша попытка прорваться в мир идей? Ведь крупные и завершённые (с точки зрения общего замысла) тексты Вы пишете редко, издаете еще реже.*

К.С.: Не согласен. Мне кажется, я пишу больше, чем надо. Нужно двигаться не вширь, а вглубь. Мы знаем, с одной стороны, объемистые книги, которые лучше бы и не были написаны, а уж если они написаны, то не следовало бы их издавать. Но, с другой стороны, есть очень краткий «Логико-философский трактат» Витгенштейна или такой шедевр, как «Рассуждение о методе» Декарта. Редактирование книг, статей, авторефератов мне представляется весьма нужной и полезной работой. Когда я редактирую тексты, то вкладываю в них частицу себя, а, стало быть, таким образом прорываюсь к философской сути, никому не принадлежащей.

Это мне напоминает следующую ситуацию. Жена в советские времена входила в редакцию стенгазеты, и там к 1 Мая нужно было написать передовую. Она обратилась ко мне. Мне такое занятие показалось веселой игрой: как из этих слов можно выстроить передовую, чтобы она отвечала всем риторическим требованиям. Эта игра переходила у меня подчас в наукообразный текст, которым тоже можно играть, удивляясь и «приникая» к тем смыслам, которые здесь возникают.

Ю.М.: *А что Вас все-таки гнетет и беспокоит? Почему во всем, что Вы говорите, присутствует сожаление и горечь утраты? Задам вопрос по-другому: что Вы потеряли по дороге жизни?*

К.С.: По большому счету меня ничего не гнетет. Я скажу, что не гнетет по одной простой причине: мне нравится много работать — прежде всего читать лекции. Нет лучшего лекарства, когда тебе плохо, когда одолевают страхи, сомнения, так свойственные всякому человеку. Философия, то есть работа в ней, сосредоточенный напряженный труд — это лучшее, что существует в мире. Ни общение, ни дружба, ни любовь, ни отдых, ни роскошь не идут ни в какое сравнение с целенаправленной, сосредоточенной философской работой.

О философии и философах

Ю.М.: *То есть Вы считаете себя больше преподавателем, чем исследователем?*

К.С.: Я вообще считаю философию не наукой, и там, на мой взгляд, нет исследователей. Хотя я допускаю и приветствую научную форму философствования. А вот те, кого В.М. Межуев называет философоведами, люди полезные, необходимые и достигающие в философии полноты бытия. Вот, к примеру, взять Пиаму Павловну Гайденко. Она потрясающий Учитель, но тоже не философ в узком «межуевском» смысле слова. А Д. Писарев – на чем стоит? Только по преимуществу на переводах. Но Писарев был нужен развитию русского философского сознания. Павел Семенович Гуревич – совершенный блеск в объемности его сознания, в поразительной точности и профессионализме. Но он отчетливо понимает и, думаю, мудро принимает свою роль.

Ю.М.: *Какую же роль выполняют эти люди? Трансляторов или просветителей?*

К.С.: Роль людей, которые связывает нашу культуру с европейской.

Ю.М.: *В какой-то мере это делает и В.М. Межуев, некоторые другие специалисты, стоящие в философском осмыслении мира на позиции европоцентризма.*

К.С.: Немного в другой мере. Для Межуева этот момент не самый существенный. А для Гуревича это главное. А вот Эрих Соловьев выстроил внешне свою карьеру, как и вышеназванные, но в нем есть философское дарование, которое, кстати говоря, от него не зависит. Я его спрашивал: «Как Вам удалось написать в 1969 г. замечательную статью “Экзистенциализм”?» На что он ответил: «Да я сам не знаю, как это получилось». Любопытно, что это дарование может выражаться в уже упомянутом актерском моменте. К примеру, М.А. Кисселя я знал с молодости, он был уже доктором наук, когда я слушал его совершенно блестящие лекции. Главное, что в нем было, – это интонационный строй лекций. То есть, когда ты читаешь тексты его лекций – это довольно пресно, а когда слышишь многообразие иронии, переходе в пафос, то этим можно заслушаться. Это – судьба нашей философии, которая вторична, а русская философская тема не получает развития, то есть оригинального русского философствования не выходит. Мы, по существу, вернулись к той же ситуации, когда русская литература была великим явлением, а философия – вторичной.

Как мне кажется, главные сегодня в современной литературе Быков, Пелевин или Сорокин. Они проторяют новые пути. Кстати, наблюдаю за выстраиванием карьеры А.К. Секацкого. Он хотел бы быть прежде всего писателем, но он оказался писателем в изгнании, сосланным в философию. С этой точки зрения его тексты очень любопытны, они представляют собой как бы извинение перед писательским сообществом за то, что он занимается такой «ерундой» вроде Хайдеггера.

Но мы говорили с Вами о внутренней связи философии и религии, а можно сказать о внутренней связи философии и искусства. И все великие философы – совершенно блестящие художники. К примеру, Кант великолепно пишет, как и Гегель или Владимир Соловьев. Единство этих трех сторон абсолютного духа самое существенное. Кстати говоря, я беру «устаревшее» гегелевское расчленение: искусство – религия – философия... Если спрашивают: где, например, естествознание у Гегеля? Оно входит в философию. А сегодня это – отдельный громадный, очень значимый институт науки, который позиционирует себя в конфликте с философией. Что, конечно, прозрачно, потому что, как говорит моя жена, «во всякой науке столько науки, сколько в ней философии». Это правда.

Когда читаешь Эйнштейна, Гейзенберга или Вернадского, то понимаешь, что связь науки и философии совершенно очевидна и вполне органична. У Льва Симонича Берга есть замечательная книга «Номогенез», она философская по сути. И в то же время — это настоящая фундаментальная биология. Глубокое единство всех сфер абсолютного духа дает то самое высочайшее спокойствие, о котором я пытаюсь сказать. И уже, кажется, мелко обсуждать то, что открыл я, а что не я.

Иногда это выливается в чистый фарс. Так, есть у нас один очень почтенный философ, который некогда устроил свой юбилей и пригласил меня, как я понимаю, с дидактической целью — показать мне, каким образом можно представить свои философские заслуги. Он стал, на мой взгляд, мелочно просчитывать, что лично он внес в развитие философии. Тем самым философия была редуцирована к положительной науке, причем докуновского образца, в которой предполагается, будто бы в науке существует прогресс, наподобие технического. Ведь Кун показал, что так же, как нет прогресса в искусстве, религии и философии, так нет его и в фундаментальной науке, он показал, что Эйнштейн ничуть «не выше» Аристотеля.

Ю.М.: *Вас это смутило?*

К.С.: Нет, я скорее пожалел юбиляра. Все его надежды концентрируются вокруг владения интеллектуальной собственностью. Но интеллектуальная собственность так эфемерна! Впрочем, это весьма распространенное убеждение о важности интеллектуальной собственности. И А.К. Секацкий, опираясь на миф авторства, считает, что все это очень существенно. Мне кажется, что такая мелочность мешает жить настоящему духовной жизнью.

Ю.М.: *Наверное, и я этим грешен. В прошлом году я провел свой юбилей, совмещенный с 10-летием нашего журнала. Пришли люди, выступали на конференции, была задана тема о роли журнала в обществе. Обо мне упоминали в контексте. Надеюсь, что мне удалось уйти от констатации своих вкладов в развитии науки. Это нечто эфемерное.*

К.С.: Не нам решать и судить о том, что удалось сделать. Это не наша проблема.

Ю.М.: *А в чем же тогда состоит наша проблема? Разве не в соизмерении личного вклада по отношению к великим мыслителям прошлого и настоящего?*

К.С.: В качестве ответа приведу мой любимый пример, почерпнутый из Эриха Соловьева, а он почерпнул его в свою очередь у М. Хайдеггера. Речь идет о различении историзма и историцизма. Я на этой основе придумал следующий образ. Кант создал трансцендентальный идеализм, написал «Критику чистого разума». А девушка — студентка 3-го курса, прочитавшая несовершенный перевод Канта на русский язык, что-то поняла, а что-то нет. Что поняла, то чаще всего неверно. Но можем ли мы считать, что Кант — великий философ, а она — нет? В экзистенциальном плане — нет.

Кант прожил довольно убогую жизнь филистера, приложив немало усилий, что бы ему ничто не мешало в его сосредоточенном труде. Когда мы говорим о Канте, то вопрос о таланте просто не возникает. На мой взгляд, это удачно попавший на место арифмометр. В экзистенциальном плане бытие той девушки может быть ничем не ниже, ее биография столь же значима, что и кантовская. В ее жизни могли быть события, которые Канту и не снились. Скажем, большая всепоглощающая любовь.

Пафос Э.Ю. Соловьева заключается в осмыслении идей Хайдеггера. Но ведь Соловьев не просто так за ним следует. Он понимает, что в космическом масштабе Хайдеггер также не состоялся, как и сам Э. Соловьев. — А кто состоялся в полной мере? — Разве что Иисус Христос... Но ведь он Бог..

Ю.М.: Во всем этом наблюдается некая тупиковость и осознание бессмысленности собственного поиска. Отчасти это связано с нашей замкнутостью, изолированностью от мировой философии, а также с тем, что нам что-то не удалось сделать самим.

К.С.: На хороший вопрос всегда непросто найти легкий ответ. Моя интуиция заключается в том, что полнота бытия эквивалентна предельным основаниям бытия.

Ю.М.: У меня возникает ощущение глупости положения вопрошающего. Я пытаюсь Вас расшевелить, а в результате оказываюсь в нелепой ситуации. Вы сами знаете вопросы, на которые Вам надо отвечать. Мое присутствие здесь излишне, хотя, возможно, я нужен Вам для общего фона. И все же сделаю очередную попытку.

Кто же Вы тогда как представитель философского цеха? Вы все время говорите о каких-то предельных основаниях бытия, скрытых смыслах и т.п. Очевидно, Вы — не субъективный, а скорее объективный или трансцендентальный идеалист. А может все это Вы считаете надуманным и искусственным?

К.С.: Я не верю в такого рода «четкие» разделения. Помню, в военно-морском училище я попал в госпиталь и, как роман, залпом прочел книгу Александрова «Диалектический материализм». Вот где была предельная четкость, идущая от Четвертой главы «Краткого курса»! Я верю в индивидуальные различия философских личностей, в национальные традиции в философии, но жесткое разделение по философским направлениям мне кажется очень зыбким и условным. Определить себя как принадлежащего к какому-то направлению я не могу. Но если уж очень хочется меня куда-то «пристроить», то я ближе к объективному идеализму в его русской традиции.

Ю.М.: Может, в этом и заключается проблема? То, что мы есть ничто или никто в философии, зависит от того, что мы никак себя не обозначаем, не причисляем себя к той или иной традиции. Мы — сорняки на обочине дороги, которым неведомы пути великих философов, но очень хочется попасть в историю философской мысли, запечатлеть себя хотя бы в образе сорняка.

К.С.: Вернусь снова к своим любимым персонажам. У меня была одна любимая «административно-институциональная» идея: я хотел доказать, что между Бодрийяром и Секацким все различия заключаются исключительно в том, что французская система философской культуры автоматически «раскрутила» Бодрийяра как очень известного человека, переведенного на все языки. А наша философская культура такова, что Секацкий оказался «не раскрученным».

Ю.М.: Вы так много упоминаете о Секацком, что у меня невольно закрадывается подозрение (а я — человек мнительный!) в наличии у Вас скрытой зависти к нему. И что это у Вас за игры с раскручиванием людей, которые, возможно, собой еще ничего не представляют, а Вы пытаетесь их продвинуть? Ведь слабость к слабым не делает Вас автоматически сильным.

К.С.: Нет, я не хотел бы быть сильным за счет «слабости к слабым». Вообще, «сильный» и «слабый», термины из агонального словаря, плохо выражают наши интимные отношения с философскими смыслами. Наверное, сравнивая российское и французское философские сообщества, я испытываю слабость к институциональному аспекту философствования. Точнее, к соблазну легкого объяснения философа через принадлежность его к национальному сообществу.

Ю.М.: Наверное, Вы хотите вместо философского сообщества, которое так и не сложилось в России как сеть признанных школ, дать своим коллегам признание, выражая им некую форму сочувствия в виде дифирамбов в речах и текстах?

К.С.: Но я и чувствую себя «сообществом», в некотором роде организатором «сообщества», и когда я веду конференцию, то чувствую это особенно отчетливо. Конференция выстраивается мной как симфоническое произведение, и это зависит именно от меня. Я придаю смысл высказываниям, связываю друг с другом отдельные выступления.

Ю.М.: *Ну Вы просто демиург конференций. И, конечно же, должны отдавать себе отчет в том, что это всего лишь игра. Хотя у Вас имеется особая манера ведения, которую нельзя назвать демократической. Это скорее попытка приподнять (или опустить) людей до своего уровня, домыслить за них, облечь их мысли в собственную форму или упаковать высказанное ими содержание, основываясь на своих критериях. Вы комбинатор философского типа. Но ведь имеются и другие способы ведения дискуссий, когда продвигаются не люди, а идеи и наращивается новое содержание.*

К.С.: Наверное. Мне приходится сталкиваться с разными ситуациями. Так, на одной довольно давней конференции выступал декан философского факультета Ю.Н. Солонин. Сначала держал речь Секацкий, и я говорил: как замечательно, мол, выступают молодые философы! Затем выступал Солонин, и я сказал, что это слово настоящего руководителя в философии. Все это выглядело, на мой взгляд, мягко, хотя и иронически. Я полагал тогда, и думаю так и сегодня, что руководитель философского подразделения мыслит философски тоже хорошо, но иначе, чем молодой философ. Солонин тогда промолчал. Но на следующий день он сердито спросил меня, почему я превозношу Секацкого, а его «унижаю» и называю его слово исключительно начальственным...

Ю.М.: *Да, Вы представляете людей не так, как они этого хотят, а своеобразно своему видению. А Секацкий оставил в Вашем сознании просто неповторимый след. Вы никак не можете освободиться от его образа. Что поделаешь, у каждого из нас свои кумиры.*

К.С.: Конечно, я представляю людей так, как я их вижу. И стараюсь им об этом сказать. Но главное для меня выстроить конференцию как театральное представление. Возможно, что я «подгоняю» людей под те роли, которые мне в этом представлении необходимы. Я надеюсь, что мне чаще всего удастся выстраивать конференцию как именно такое произведение. Мне кажется тогда, что удалось обнаружить мелодию в тонких пластах бытия. Да и другие мне часто об этом говорят. Однажды у меня на конференции выступали ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзозов А.С. Запесоцкий и замечательный, яркий доцент Н.Б. Иванов.

Ю.М.: *Замечательные образы! Просто ректор университета и замечательный, яркий доцент.*

К.С.: Я хотел сказать, что они и по своему положению и по взглядам совершенно различны. Но, как мне показалось, в их противоположных точках зрения можно было увидеть связь и дополняющую друг друга философскую глубину. К чему я это рассказываю? Как-то я сказал Секацкому, что мы совсем не читаем друг друга, мы не интересны друг другу, и это большая проблема. На что он мне вдруг говорит: «Константин Семенович, а может, мы просто не интересны?»

Ю.М.: *Опять Секацкий...*

К.С.: Наше пребывание в ситуации философского безвременья — это не редкий случай. В истории философии V в. до н.э. — это блестящая плеяда философов. А в Александрийский период и вспомнить-то как будто нечего, хотя это был по-своему

великий период. В Средневековье – Августин и Фома. А между ними? Но люди жили и философствовали в те времена. Вот взять, к примеру, арабскую средневековую философию, построенную на Аристотеле? Что она внесла нового? На этот вопрос могут ответить только тонкие специалисты... Но ведь люди философствовали и достигали полноты бытия в своем философствовании.

Ю.М.: *Говорят, что западная философия дискурсивна в своей основе: выбрасываются какие-то идеи и они обсуждаются, идет обмен, появляется контрдоводы, существует реальная оппозиция господствующей парадигме. По сути, они воспроизводят свой демократический образ жизни в философском дискурсе. А у нас философских идей, может быть, не возникает потому, что мы ведем традиционный и замкнутый образ жизни? Поэтому не формируется и дискурс в философии: мы не читаем друг друга, не слышим, отгорожены стеной от мировой философии. Замкнутость и косность, проявляющиеся не только в языке, но и в способах мышления, делают нашу философию маргинальным явлением. И философия ли это вообще, если в ней отсутствует дискурс о свободе, о человеческой экзистенции и т.д.?*

К.С.: Здесь, в этой Вашей тираде, что-то есть, есть какая-то правда. Любопытен сам ход Вашего рассуждения, потому что первая часть интервью была сосредоточена на моей персоне, а сейчас Вы поставили вопрос о некоей системе, о некотором философском поле, в котором мы работаем.

Когда я стал заведующим кафедрой, то подумал, что раз смог в какой-то степени участвовать в «раскрутке» Секацкого, то, значит, моя модель «усовершенствования нашего философского сообщества» работает.

Ю.М.: *По-видимому, Секацкий оказал на Вас неизгладимое влияние, коль так часто Вы упоминаете о его фигуре. Если немного утрировать ситуацию, то Вы стали заведующим кафедрой и занимаетесь философией, чтобы участвовать в «раскрутке» Секацкого...*

К.С.: Я веду к тому, что поле философии создается усилиями маленьких людей. И организуют это поле тоже маленькие люди, вроде меня.

Ю.М.: *Но какой же Секацкий маленький человек? Напротив, в Вашем представлении он фигура, сопоставимая с Бодрийяром. Что-то я Вас не пойму.*

К.С.: Поражаешься, как хорошо устроен мир быта на Западе и как плохо – у нас. Вспоминается, как, гуляя по улицам западного города, ты не можешь бросить мусор на улице, а обязательно ищешь урну. У нас же все легко бросают мусор прямо на асфальт. Или трагикомическая история с биотуалетами у нас, в которых чувствуешь себя очень «некомфортно». Это – нецивилизованная среда, которая даже достижения западной цивилизации, перенесенные на нашу почву, «портит». А на Западе удалось создать цивилизованную среду. Или воровство, господствующее у нас как обнаружение некоего архаического инстинкта собирательства.

Мы обсуждаем вопрос о философии как социальном институте и считаем, что она должна быть благоустроена. Чтобы не получалось так, что бездарности легко проходили, а таланты застревали. Это происходит от необустроенности нашего философского быта. А современная немецкая философия при всей своей подчас тупости, ограниченности и пошлости сохраняет цивилизационные основы.

Ю.М.: *То есть Вы рассматриваете философию как некий продукт цивилизации, цивилизованности?*

К.С.: Нет, я рассматриваю цивилизованность как условие существования социального института духовности, в т.ч. философии.

Ю.М.: *Но сводите все это исключительно к благоустройству?*

К.С.: Да, в философии должны быть некоторые моменты благоустройства.

Ю.М.: *По сути дела, к порядку.*

К.С.: Нам нужен не формальный порядок, которого, как кажется, в избытке, а содержательный. Возьмем пример с публикациями, обязательными для защиты диссертации. Аспирант поставлен в такую ситуацию, что честным путем, бесплатно, он опубликоваться не может, хотя, может быть, его тексты очень хорошие. И он должен встраиваться в коррупционную систему, платить деньги или заводить нужных друзей, чтобы добиться результата. Это общая стилистика русской цивилизации и она порочна.

Ю.М.: *Надеюсь, это не касается нашего журнала. Мы публикуем аспирантов, хотя далеко не всех и каждого. Дело в том, что в институте обязательных публикаций, помимо всего прочего, должен быть сегмент добротной независимой экспертизы. Но его нет как такового, он не закреплен юридически. Никому нет дела до того, кто и что пишет, кто кого продвигает. Нет и признаков профессионального научного сообщества. Ведь сообщество — это некая солидарная ответственность за молодых исследователей. Это также попытка упорядочить весь процесс продвижения талантливых людей. Такой институт помимо квалифицированной оценки ставил бы преграды на пути бездарностей и серостей.*

К.С.: Конечно. И здесь мы выходим на Ваш вклад, Юрий Михайлович, вклад Вашего журнала как организующего ядра сообщества. Ваш пафос — это пафос выстраивания цивилизованного философского сообщества, где люди судят по совести, а внешние (формально-бюрократические) факторы не играют решающей роли. Но как все это выстроить — это вопрос не индивидуального самочувствия философов, а коллективного самочувствия всего сообщества профессионалов. Поэтому можно только порадоваться тому, что Вы этим занимаетесь. Мало того, что Вы делаете это практически, но Вам еще и удается это как-то тематизировать, писать на эту тему. А это главный вопрос — внести цивилизованные начала в философское сообщество.

Ю.М.: *Но сегодняшняя философия, с моей точки зрения, представляет собой некие профессиональные островки, где сосредоточены философоведы или близкие к ним по духу люди, а остальные зоны заполнены кем угодно: чиновниками от философии, дилетантами, самодельными философами. Во всяком случае, профессиональное ядро философского сообщества постоянно и постепенно размывается. Конечно, где-то появляются профессиональные одиночки в регионах, но им там часто не дают возможности проявить себя, потому что не выстроена в целом система поддержки и продвижения талантливых ученых. И этим приходится поневоле заниматься на своем уровне нам с Вами. Но ведь мы встроены в старую систему, где игнорируются многие этические нормы.*

К.С.: Вот эти профессионалы и есть, на мой взгляд, настоящие философovedы. И это отнюдь не ругательное понятие. Других пока нет. Надо понимать, что философская мысль несовершенна, но она совершенно необходима. Я отдаю себе отчет в том, что в данный момент все мои увлечения самодельными философами не очень уместны, потому что это некая форма роскоши, которую может позволить себе лишь развитое профессиональное сообщество, имеющее сложившиеся традиции.

К примеру, высокая культура живописи во Франции XIX в. может позволить себе такую роскошь, как Анри Руссо (примитив). И если, действительно, есть мощная профессиональная философия, то мы можем позволить себе эту игру и с улыб-

кой наблюдать за тем, как люди проторяют свои собственные пути. Но сегодня я с грустью наблюдаю, какими они становятся подчас агрессивными, заявляя: «Мы не самостоятельные философы, а независимые».

Ю.М.: Но не Вы сами способствовали рождению этого феномена. А теперь, когда они начали поднимать голову, Вас это стало беспокоить.

К.С.: Сегодня я считаю, что мы должны развести в философии два совершенно разных пласта. Первый пласт — это философия как индивидуальная радость жизни, которая, как мне кажется, не зависит от вклада в официальную историю философии. Второй — это то, что Вы сделали в организационном плане и выполняете практически, это философия как момент цивилизованного общества, то есть то, как философия входит в цивилизацию и изменяет ее. С одной стороны, она пронизывается нормами цивилизации, с другой — сама их задает. Кропотливое выстраивание тысячами преподавателей, издателей, тех людей, которые осуществляют экспертизы, начиная от экзамена и заканчивая оценкой докторской диссертации.

Ю.М.: Есть еще официальная философия как номенклатура высокопоставленного начальства, о чем Вы говорили, возможно, не очень удачно на примере Ю.Н. Солонина. Он как раз отличается от других представителей философского начальства. Возможно, поэтому и обиделся, почувствовав «след» обобщенного подхода к своей персоне. То, что Вы говорили о вкладах в философию, многих «руководителей в философском мире» заботит в первую очередь. А некоторые из них уже при жизни создают себе памятники в прямом и переносном смысле этого выражения. Так что философий, как и типов людей, много. Наверное, столько, сколько сообществ, организующих свой порядок философствования, — формальный или неформальный, профессиональный или дилетантский.

К.С.: Многие из тех, кого относят к философскому начальству, лично у меня вызывают большую симпатию. Это — умные и порядочные люди. Но, будучи не на своем месте, они часто претендуют на большее — оставить свой след в истории философии.

О старости и связи поколений

К.С.: Вот я бы хотел спросить Вас в свою очередь о том, как Вы представляете себе Вашу старость? Не последний этап жизни, а именно ту старость, в которую, как мне кажется, я начинаю вступать. Согласны ли Вы со мной, что старость — это лучшее время в человеческой жизни? Или это то, что нуждается в компенсациях? Я читал воспоминания литературоведа Б.Ф. Егорова о Д.С. Лихачеве, как они постоянно вынуждены были ездить «по делам» в Москву и обратно. Хотя и в вагоне СВ, но Д.С. Лихачев никак не мог уснуть, принимал разные снотворные средства, которые мало помогали. Что-то здесь не укладывается в мое представление о подлинной старости. Слишком много суеты.

Ю.М.: Если говорить Вашими словами, то хотелось бы иметь более или менее высокое спокойствие? Но я не вижу свою старость таковой. Помните, в фильме «Старик-разбойники» наши пенсионеры в стремлении вернуть былое организовали похищение картины? С формально-юридической точки зрения они действовали как преступная группа, а в нравственном плане их поступки можно оправдать самыми лучшими побуждениями. Мне представляется, что старость — это еще и возможность похулиганить, выступить против нецивилизованных черт системы. Хочется что-то сотворить такое, что не вписывалось бы в привычные каноны, стереотипы пожилого человека.

Но если серьезно, то старость – это некий шанс, который Бог дает, чтобы еще раз нас испытать, притом что мы уже обладаем не той телесностью, как в молодые годы, что нам уже требуется минимальный жизненный комфорт, что нужно выглядеть соответственно своему возрасту и статусу, то есть быть солидным и мудрым человеком. И при всем этом сделать еще одну, а если повезет, то и несколько попыток изменить себя и свое собственное окружение.

К.С.: В одном стихотворении Ф.И. Тютчева есть такие строчки: «...и старческой любви позорней сварливый старческий задор». Вот тут есть альтернатива старческого поведения. Во-первых, это форма старческой любви, которую во всей своей прелести мы наблюдали в покойном В.С. Барулине. Он искренне всех любил, и выглядело это очень достойно. А иногда я наблюдаю именно «сварливый старческий задор». Кстати, эти строки Тютчева я взял в качестве эпиграфа для своей статьи про известную террористическую группу «Баадер-Майнхоф».

Это странная история, которую у нас замалчивают. Немецкие студенты 50-60-х гг. XX в., высокообразованные люди, вдруг создают террористическую группу. Веет прямо мистикой, когда узнаешь, из каких семей эти молодые люди. Там потомки Гёльдерлина, Гегеля, Баадера. Они как будто «просто так», в знак протеста против войны во Вьетнаме, сжигают универмаг во Франкфурте. Какая там связь?! Вьетнам и универмаг во Франкфурте? С ними начинают очень жестоко воевать. Некие сцены напоминают нам сцены из «Бесов». Реакция полиции – государственной машины ФРГ, на мой взгляд, совершенно ужасна. Эти, в большинстве своем, старые люди – судьи, чиновники, тюремщики – пытали и мучили молодых людей, и всех в конце концов убили. Вот тут налицо бездушный «сварливый старческий задор» на уровне всего государства. И здесь борьба поколений переходит все дозволенные пределы.

Ю.М.: *Я сказал в качестве шутки, что безобидное хулиганство, с социальной точки зрения, может служить альтернативой «сварливому старческому задору», но на самом деле мне кажется, что реальной альтернативой есть нечто третье – продолжать жить той жизнью, которой ты жил прежде с учетом твоих реальных возможностей. Мне представляется, что Вы именно так и делаете. Нет у Вас ни сварливого задора, да и всепоглощающей любви я что-то тоже не наблюдаю.*

К.С.: Но я пока не чувствую себя стариком.

Ю.М.: *Но все-таки Вам удалось сохранить молодость духа. Или это связано с образом жизни преподавателя, работающего с молодыми людьми и находящегося в постоянном контакте с ними, стремящегося мыслить и чувствовать, как они?*

К.С.: Да, наверное, именно поэтому. Хотя нотки преподавательские совершенно ужасные и иногда подводят, когда меня дочери в обычной домашней беседе вдруг прерывают фразой: «Папа, ты же не лекцию читаешь!». Я ловлю себя на мысли, что со стороны подчас выгляжу как ограниченный поучитель.

О том, что помогает или мешает жить философски

Ю.М.: *А что, с Вашей точки зрения, в Вас есть сильного? Того, что дает Вам преимущество в общении с другими как человеку, философу-профессионалу? И опять вернуться к тому же, о чем спрашивал Вас несколько лет назад, но так и не услышал вразумительный ответ: что значит быть философом и вести философский образ жизни?*

К.С.: Насчет профессионала – не знаю. А как человеку, занимающемуся философией, – это склонность и способность к рефлексии, что и есть, по-моему, суть

философствования как процедуры, позволяющей посмотреть на любой предмет с точки зрения вечности. Без постоянной рефлексии невозможно вести философский образ жизни.

Ю.М.: *Мне кажется, в Вас присутствует то, что было характерно в свое время для В.С. Барулина, — какая-то исконная доброжелательность, умение прощать и сглаживать противоречия.*

К.С.: Но бывают срывы и у меня, на каком-то «сангвиническом» уровне.

Ю.М.: *Возможно, это связано с тем, что Вы ощущаете посягательство на Ваше пространство. Получается, что в Вас присутствует одновременно уровень философского самосознания и обыденный пласт сознания?*

К.С.: Думаю, как и у всех. Просто нужно контролировать себя.

Ю.М.: *А что отличает Ваш стиль жизни? Как Вы себе его представляете?*

К.С.: Лет в тридцать я преподавал философию в Кораблестроительном институте, где сочинил о себе эпиграмму: «Пигров бедняжка суетится, только дело не вертится!»

Ю.М.: *То есть суета — это Ваша характерная черта?*

К.С.: Да. Я склонен впадать в суету, если себя не контролирую.

Ю.М.: *А может, это защитный рефлекс? Ведь Вы очень социально научаемый, толерантный и адаптируемый человек.*

К.С.: Да, вот и сучусь там, где не нужно.

Ю.М.: *А когда Вы остаетесь наедине с собой, Вы меняетесь?*

К.С.: Это самое благо, остаться наедине с собой! У Чуковского в «Дневнике» хорошо было сказано на этот счет: «Я не то, что не люблю людей, но я не люблю себя, когда сталкиваюсь с людьми. Тон становится не мой, не хороший».

Ю.М.: *По своему опыту общения с Вами могу отметить, что во всех наблюдаемых мной ситуациях Вы придерживаетесь «золотой середины». Но больше всего Вы любите находиться в центре всеобщего внимания. Поэтому Вы всегда или почти всегда организатор конференций, душа компании или человек, который хорошо имитирует эту роль. Вам удается также выступать примиряющей серединой.*

К.С.: Бывает, когда провоцируют. Здесь вот такая вещь. Начну издалека. Надежда Мандельштам говорит, что Мандельштам полагал, что поэт и актер — это противоположные профессии. Наверное, тут есть своя правда. Возможно, поэт рассчитан на уединение и присутствие в мире высших смыслов, что и дает настоящее спокойствие. А актер — это человек социальный.

Ю.М.: *Это Пигров.*

К.С.: Да, но Пигров не так прост, как Вам бы, возможно, хотелось его видеть, так как в нем присутствуют оба пласта: пласт общения и пласт рефлексии, пласт актера и пласт поэта.

Ю.М.: *Да, получается просто ангел какой-то. А чего все-таки Пигров не умеет? Чего бы он очень хотел научиться, но пока не умеет?*

К.С.: Хотел бы быть более крутым, резким и принципиальным. Принципиальность во мне есть, но очень глубоко спрятана. Мне нужно выработать в себе способность чаще говорить «Нет».

Ю.М.: *Это Ваш желаемый идеал?*

К.С.: Не то чтобы идеал, но черта, которую мне бы хотелось приобрести. Ведь я всегда сначала говорю «Да», а потом начинаю отрабатывать ситуацию назад.

Об империи и цивилизации

Ю.М.: *Как существо социальное Вы удивительным образом совмещаете в себе любовь к жизни, радость бытия, экзистенциальный порыв и имперские идеи? Почему Вы оказались сторонником империи?*

К.С.: Это глубинным образом связано во мне, потому что империя в моем представлении есть зона благоустроенного общества.

Ю.М.: *Но империя и цивилизация – это ведь разные вещи. Не находите?*

К.С.: Да, разные, но связанные, потому что империя – это юридическое, правовое и традиционное оформление цивилизации.

Ю.М.: *Не могу согласиться с Вами. Их связывает только идея порядка, все остальное у них разное. Империя есть порядок насилия, а цивилизации – благополучия. Империя – традиционное общество, а цивилизация – современное. И многое другое. Это две разные модели социума и типа системы.*

К.С.: Но ведь то, что выстроили Соединенные Штаты, – это империя, по существу. И когда мы смотрим американские фильмы, где американские военные находятся за границей – это имперское поведение.

Ю.М.: *Да, согласен, но не совсем. Их внутренний порядок ориентирован на благополучие американских граждан, хотя их внешняя политика вполне имперская. Они спасают мир, даже тогда, когда последний в этом не особенно нуждается. «Присутствуют» во всех регионах мира в интересах якобы всего мира. Но у них концы с концами не сходятся. Оккупировали Ирак под ложным предлогом, но порядок в стране так не смогли восстановить. Держат под военным контролем Афганистан, но кокаиновый поток течет в нашу страну и другие пограничные государства полным ходом. При этом их заботит, безусловно, не борьба с наркобизнесом, а национальные интересы. Но внутри собственной страны они придерживаются демократических процедур, пусть даже на уровне общих деклараций и декораций.*

К.С.: Ну не совсем так. В Афганистане они, кроме всего прочего, учат крестьян копать пруды и разводить рыбу вместо маковых полей.

Ю.М.: *Но ведь в большинстве случаев они закрывают на это глаза. И каждый год от афганских наркотиков умирают сотни тысяч людей.*

К.С.: А сколько сломанных судеб.

Ю.М.: *Вот именно. Это огромное социальное бедствие, прямое следствие имперской внешней политики США. Так что эта страна совмещает в себе цивилизацию и империю.*

К.С.: Я не думаю, что это следствие имперской политики.

Ю.М.: *Зачем же тогда американцы присутствуют в Афганистане, если их армия не служит щитом потоку наркотиков?*

К.С.: Это скорее имперский инстинкт. Как и у меня эта имперскость существует на уровне инстинкта и проявляется двояким образом. Во-первых, мне бы хотелось быть гражданином великой страны, которой можно было бы гордиться, и я чувствовал бы отблеск этого величия на себе, хотя это довольно мелко.

Ю.М.: *Это в Вас сидит глубоко наследие советской империи...*

К.С.: Ну или российской. И второе – имперское сознание определено благоустройством и безопасностью общества. Скажем, возможность поехать в Душанбе или Грозный, которая в советское время была и я ее не использовал, сейчас потеряна и, наверное, навсегда. Имперскость – это чувство единства с универсумом.

Ю.М.: А Вам не хотелось бы жить в маленькой, но благоустроенной стране типа Финляндии или Норвегии? Где все решено, и Вам осталось бы заниматься лишь своей философией? Там нет имперскости, но есть чувство защищенности и сопричастности к чему-то хорошему и высокому. Вам подавай империю.

К.С.: Я руководствуюсь в этом отношении двумя чувствами, которые кажутся противоположными, а на самом деле едины. Противоположность заключается вот в чем: чувствовать себя принадлежащим к империи, гордиться своей страной — это понятно. Точно так же можно и гордиться маленькой страной. Конечно, эту имперскость надо еще отрефлексировать, чего пока не сделали в своей очень хорошей статье С.Н. Гавров и А.М. Мелихов — я их «вычислил» по имперской идее. Они — сторонники имперского сознания.

Еще империя хороша тем, что вопрос этнического происхождения в ней оказывается на втором плане. Вот Мелихов выстрадал свою еврейскость и теперь считает себя русским человеком, а с другой стороны, чувствует себя евреем, и его книга «Исповедь еврея» великолепна. Поэтому малые национальности за империю, потому что она делает их значимыми.

Ю.М.: Вы знаете, что С.Н. Гавров еще недавно был либералом, писал об этом, а в последнее время обратился к идеям империи. Это, во-первых. А, во-вторых, маленькие национальности чувствуют себя прекрасно и в маленьких, но цивилизованных странах, причем без угрозы возможных погромов, как это часто бывало и бывает в истории империй прошлого и настоящего.

К.С.: Но внутренняя привязанность к идее империи у Гаврова есть.

Ю.М.: Да, но я не верю людям, которые меняют на протяжении пяти лет свои взгляды на прямо противоположные. В то же время имперскость для меня — это доминирование, насилие над маленькими народами, попытка унифицировать их образ жизни. Вы так не считаете?

К.С.: Дело в том, что настоящая имперскость — это, прежде всего, культурная имперскость, а силовая составляющая имперскости — вторична. Другое дело, это культурное начало в империи нигде не господствовало в Империи на практике до конца. Да, Британская империя принесла многим народам как благо, так и зло. Кто возьмется взвесить на весах истории, чего было больше? Что касается России, то боюсь, что в настоящее время у нас перспектив имперскости нет, так как наша культура, цивилизация и промышленность, так кажется сегодня, не настолько сильны, чтобы сделать Российскую империю эффективным инструментом благоустройства общества. Но все может измениться! Вот Китай, казалось бы, был совершенно уничтожен в качестве Империи, а сейчас он оказывается едва ли не главным соперником США... Так, может быть, и Россия...

Ю.М.: Но тогда это вовсе не имперскость, а цивилизованность. А Ваша культурная имперскость есть ни что иное, как мультикультурализм и транскulturализм, присущие цивилизации. Жаль, что имперские грезы Вас не покидают. Об этом свидетельствует и Ваш пример с Китаем. Надежда на возрождение империи в России еще Вас не покинула. А может быть стоит научиться жить без иллюзий в нормальном, цивилизованном обществе без опоры на имперские ценности ушедшего века? Интересно, а Секацкий разделяет Ваши имперские убеждения?

Константин Семенович! Большое Вам спасибо за интересную и содержательную беседу.